Н. РОЖКОВ.

СМЫСЛ И КРАСОТА ЖИЗНИ



ПЕТРОГРАД МОСКВА
КНИГА
1923

Проф. Н. РОЖКОВ

СМЫСЛ и КРАСОТА ЖИЗНИ

(ЭТЮД ИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ).



КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО „КНИГА“
ПЕТРОГРАД, Проспект 25 Октября, 74. Тел. 134-34.
МОСКВА, Тверская, 38. Тел. 264-61.

Ср.

БИБЛИОТЕКА
ЮРИДИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ.

159
V23

I.

Кто в жизни своей никогда не ставил себе вопроса,—«как жить хорошо»,—тот не жил сознательною жизнью, не мыслил и не чувствовал. Тот жил только зоологически, «утробно».

Мыслящие и чувствующие люди часто задают себе этот вопрос, нередко так и бывают не в силах на него ответить, страдают от этого, наиболее чувствительные или наименее уравновешенные доходят даже иногда до самоубийства, а иные—и кто знает, не всего ли это хуже,—погружаются, не находя ответа, в состояние холодного равнодушия, апатии или в обывательскую обыденщину.

Вопрос, очевидно, принадлежит к числу тех, которые Гейне назвал «проклятыми».

И первое, что о нем надо сказать,—это то, что он вовсе не так прост, как, может быть, на первый взгляд кажется. Дело в том, что здесь, как это часто бывает и в других случаях, каждый вкладывает в одни и те же слова особое, свое, оригинальное содержание.

Для одних «как жить хорошо»—значит «как жить нравственно» или «свято»: это—люди этического, морального склада.

Для других «как жить хорошо»—значит «как жить приятно и разнообразно»: это—люди эпикурейского, индивидуалистического склада.

Для третьих «как жить хорошо»—значит «как жить спокойно»: это люди эгоистического склада.

Для четвертых важно, «как прожить красиво»: это эстетики.

И это только главные разновидности в понимании вопроса; можно было бы привести много других, более мелких, второстепенных.

Из приведенных четырех главных толкований вопроса третье надо совершенно отбросить: эгоистическое спокойствие, подкладкой которого является трусость, страх, слишком жалко и низменно, чтобы с ним считаться. Это свойство тех, кого Пушкин наименовал «сердцем хладными скопцами». С духовными мертвецами тем менее следует иметь дело, что они и исторически отходят в прошлое.

Четвертое — эстетическое — понимание, если хорошенько посмотреть, составляет только часть второго, индивидуалистического. Значит, остаются только два понимания—этическое и индивидуалистическое. Чтобы ответ на вопрос получился удовле-

творительный, надо об'единить эти оба понимания.

Об'единить не значит соединить механически. Есть люди, которые именно механически соединяют этику с индивидуализмом и поэтому вечно двоятся, имеют два лица подобно Янусу, вступают сами с собой в постоянные противоречия. Таков, напр., был Лассаль.

Мы должны стремиться к бо́льшему—не к механическому соединению, а к органической связи. И я думаю, что достигнуть этого можно, только выводя этические требования из индивидуализма, правильно понятого. Поэтому основной вопрос в его правильной постановке надо формулировать не «как жить свято» или «нравственно» и не «как жить приятно и разнообразно»; а— «как жить осмысленно и красиво», «в чем заключаются смысл и красота жизни». Моральные и общественные выводы сами собой вытекут из такой постановки вопроса, они естественно приложатся к заключениям, которые получатся путем анализа понятий о смысле и красоте жизни, как необходимое продолжение этих заключений.

Почему же именно так цель органического об'единения достигается лучше всего?

Это нетрудно понять, попытавшись построить сначала ответ на занимающий нас вопрос на моральном, этическом основании.

В самом деле: на чем покоится наша обязанность жить свято? На вере в награду в будущей, загробной жизни? Но ведь мы хотим быть счастливы в жизни настоящей, земной, а не небесной! На велении нашей совести, на том, что Кант называл категорическим императивом? Но не является ли это веленье результатом определенных социальных влияний,—того, что господа положения в прошлой и настоящей жизни человечества воспитывали и воспитали в нас выгодные для них, этих самых господ положения, нравственные инстинкты?

Ясно: кто не хочет быть рабом слепой, бессознательной веры или игрушкой в руках сильных мира сего, тот не должен ставить во главу угла этическую точку зрения.

Иное дело—точка зрения индивидуалистическая. Здесь есть реальное, бесспорное, прочное, не воображаемое, не фантастическое основание. Оно формулировано Писаревым в следующих удачных выражениях: «для самого себя каждое живое существо есть центр и смысл всего мироздания». Свободные и смелые люди все вместе с Герценом «родились совершенно земными людьми».

Конечно, не все в жизни определяется одною личною волею человека, но если верно замечание Маккиавелли, что по крайней мере наполовину жизнь наша определяется

личными условиями, то мы должны использовать эту половину целиком, не упуская и не уступая ничего. Это то, что Герцен называл «жить во все стороны», Бальмонт выразил в стихах:

„Я спросил у могучего моря,
В чем великий завет бытия?
Мне ответило звучное море:
„Будь всегда полнозвучен, как я“,—

наконец, Гюйо скрепил философским авторитетом, определив: «жить, значит проявлять и выражать свою личность».

Уже из этого видно, как широко приходится захватить сферу разнообразных и сложных житейских отношений, освещая нашу тему.

Нетрудно понять, что та общая постановка вопроса, которая нами здесь выдвигается,—органическое слияние, синтез индивидуалистической и этической точки зрения и социально—оправдывается. В самом деле: этическая точка зрения—это старая, крестьянская, средневековая, феодальная. Индивидуалистическая—буржуазная, капиталистическая. Социалистическому будущему, полной победе социализма и носителям этой победы, грядущему внеклассовому братству трудящихся предстоит разрешить в моральной сфере великую задачу органического синтеза всего здорового, что есть и было в

житейской, практической философии прошлого. Посильное содействие разрешению этой задачи—обязанность каждого, живущего в наше бурное, рвущееся вперед, время. Пусть даже конечное достижение будет неудачно,--попытки все же необходимы.

II.

Первое, что дает смысл и красоту жизни, это—наука.

Но бывает наука и наука. И потому надо вполне уяснить, какая именно наука и почему осмысливает и украшает жизнь.

Было время, когда основную стихию психики господствующих классов составляло чувство страха. Это было в феодальную эпоху, когда господствовали крупнейшие землевладельцы, имевшие на своей земле те права, которые впоследствии стали принадлежать государству: право суда, сбора налогов и проч. Романтизм, собственно реакционная его ветвь, покрыл эту эпоху дымкой иллюзии, пытался изобразить ее, как героическое время необыкновенных подвигов и безотчетной храбрости. Это неверно. Феодальные бароны были храбры только со слабыми и в отношении только к ним доходили до крайней свирепости и кровожадности, на-

шедшей себе классическое выражение в следующем отрывке из песни трубадура Бертрана де Борна: «вперед! пусть вид крови опьяняет вас, разбивайте головы, рубите руки!... всего слаще видеть, как рвы наполняются телами умирающих взрослых и детей». В отношении к сильным феодальные бароны и их социальные двойники—наши удельные князья и бояре—были жалкими лицемерами и трусами. И это налагало глубокий отпечаток на всю духовную культуру того времени. Религия тогда была христианством только по имени, на деле же представляла собою примитивное языческое колдовство—ряд магических обрядов, которые должны были умилостивить таинственные и жестокие высшие силы, управляющие жизнью. И наука была только служанкой этого колдовства, средством, путем гаданий, открыть книгу судеб, намерения таинственных и жестоких высших сил. Главной наукой была поэтому астрология, целью которой являлось раскрытие символического изображения судеб человечества и отдельных людей, будто бы представляемого звездным небом.

Астрология теперь разрушена, и первый, кто нанес ей смертельный удар—знаменитый итальянский философ второй половины XVI века Джордано Бруно, сожженный в 1600 году на костре, недаром заслужил себе неувядаемый венец бессмертия. Но «мертвый

всегда хватает живого», предания прошлого живут постоянно в настоящем. И потому наука, опирающаяся на костыль теологии, существует в жалких остатках до сих пор. Такая наука, конечно, не может дать смысл и красоту жизни. Долой ее! Мимо, мимо...

Но костыль теологии, даже будучи отброшен, был заменен и теперь часто заменяется другим костылем—костылем метафизики.

Буржуазия жаждет сохранения своего господства на вечные времена. И потому ей нужно идеологическое, философское, научное обоснование вечности ее господства. Это обоснование она и получает в метафизике и связанной с нею буржуазной науке.

Метафизика и метафизическая наука нашли свое высшее принципиальное выражение в философии Канта. И позитивизм Канта и его последователей, и философия новейшего кумира буржуазных мыслителей Бергсона —не более, как ветви, отростки той же кантовской метафизики. В чем же ее сущность?

Первая черта кантовской философии заключается в том, что наука признается весьма ограниченной, почти бессильной по своему значению. Верно признавая, что единственными научными методами являются опыт и наблюдение, Кант ошибочно полагает, что этими методами нельзя познать

вещи в их сущности, так как они существуют сами по себе, а познается только то, что *кажется* нам в этих вещах.

Переходя затем в область явлений нравственной жизни, Кант фактически отказывается здесь от приложения научных методов и делает скачек от знания к вере: здесь он не удовлетворяется своим собственным выводом, что сущность вещей недоступна нашему познанию, а ссылается на голос совести, на внутреннее веление совести или на категорический императив, который диктует ему необходимость вечных и действительных нравственных истин. На этом Кант, не исследуя научно происхождения велений совести, что̀ необходимо при научном, неметафизическом взгляде на вопрос, основывает вечность буржуазной морали, а вместе с тем обосновывается метафизически и вечность буржуазных общественных отношений. Этот скачек в область чистой метафизики, это отступление от научных методов в области явлений нравственной жизни составляет вторую главную черту философии Канта.

И буржуазная, позитивная, положительная наука усвоила себе и эту робость мысли, ограничивающую пределы научного познания очень узкими рамками, и метафизический метод в морали, политике и экономике, в обществознании вообще, в этике, социо-

логии, истории, праве и политической экономии.

Может ли такая философия и основанная на ней наука придать смысл и красоту жизни?

Конечно, нет! Если мы знаем только то, что ничего не знаем, и если в области морали приходится прибегать к tour de force'y, фокусу своего рода, т. е. к умственному произволу, чтобы спасти вечность начал этики и обществоведения, то что тут красивого и какой смысл жизни может быть почерпнут из этой ограниченности и произвола?

Неудивительно, что именно на почве кантовской философии выросли пессимизм Шопенгауэра и обычный, ходячий буржуазный скептицизм. Всем, вероятно, памятны превосходные путевые очерки Мопасана «На воде» («Sur l'eau»). В одном месте этих очерков автор дает яркий образец интеллигентского, мелкобуржуазного скептицизма в вопросах научного знания. Он говорит, что мы узнали о существовании бактерий и атомов, невидимых для нашего глаза. Но кто знает? Может быть, есть еще кое-что мельче бактерий и атомов, и как далеко мы ни подвигались бы вперед в познании природы, мы никогда не будем уверены, что знаем все. Мопасан не хочет принять во внимание, что уже теперь существующие знания дают нам могущество, а когда достигнуто

будет всемогущество,—это будет несомненным признаком всезнания. Приведу еще другой яркий образец буржуазного скептицизма, также идейно выросший в общественной атмосфере, вскормившей философию Канта,—стихотворение Бодлэра «Путешествие»: певцы рассказывают, что они везде

„...созерцали зрелище разнузданных страстей,
На месте женщины с зари веков доныне
Самодовольную и пошлую рабу;
Мужчину—деспота, раба своей рабыни,
С душой, похожею на сточную трубу.
Лоб медный палача и жертвы взор молящий;
За пиром—амброю приправленную кровь;
Власть опьянелую, народ, все выносящий,
К кнуту сыновнюю питающий любовь.
Религий множество: подобно нашей, тоже
Все лезут к небесам. Как нежный сибарит
Под пологом из роз на ароматном ложе,—
И святость на гвоздях для наслажденья ж спит!
А кучка смельчаков из загородки тесной,
От стада общего, живущего день в день,
Уходит в опиум свободный и чудесный...
Вот шара нашего обычный бюллетень".

В этом превосходном стихотворении есть прекрасные, очень яркие проблески истины, но ведь они есть и в философии Канта,—например, в признании единственными научными методами опыта и наблюдения: буржуазная наука сделала крупный шаг вперед сравнительно с наукой феодальной. Но в уподоблении науки и искусства «опиуму», хотя бы и «свободному и чудесному», разве

не сквозит то же кантовское недоверие к силе человеческого ума, к могуществу научного знания? И если таковы *лучшие* плоды науки, подпирающейся костылем метафизики, то не ясно ли, что такая наука также не может осмыслить и украсить жизнь? Долой и эту науку!

Но и эта наука все-таки пытается что-то осмыслить и обобщить. Рядом с ней и в зависимости от нее существует еще другая, еще более робкая наука, которая не задается широкими задачами, а ограничивает себя в каждом частном случае одной узкой специальностью, из-за деревьев не видит и не хочет видеть леса. Это,—надо прямо сказать,—наука педантов и глупцов. Крупицу истины и здесь иногда можно отыскать, но, во-первых, это бывает так же редко, как редко встречается жемчужное зерно в навозной куче, во-вторых, педантический сор нередко служит удобным материалом для школьного преподавания в руках гасителей просвещения и рыцарей мракобесия, и эта бочка дегтя совершенно подавляет собою маленькую ложечку меда в науке педантов и глупцов. И хотя эта наука, пожалуй, и неискоренима, потому что, выражаясь словами Мережковского,

„Гром побед отзвучит, красота отцветет,
Но дурак никогда и нигде не умрет,
Но бессмертна лишь глупость людская",—

но, конечно, не в ней мы будем искать смысла и красоты жизни, потому что ведь тысячу раз прав Мольер, сказавший, что «ученый глупец глупее глупца неученого» («un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant»).

Нет, чтобы придать смысл и красоту жизни, нужна не робкая наука глупцов, педантов, мистиков и метафизиков, путающаяся в мелочах, спотыкающаяся на каждом шагу и бессильно подпирающаяся костылями веры или чистого умозрения, а наука, основанная на социально-организованном опыте и наблюдении, ведающая, что знанию нет пределов, что ему *все* доступно, смело раскрывающая *всю* истину, делающая человека владыкой мира. Упорная работа, острое, постоянно-напряженное внимание, смелая мысль, точная и ясная формулировка ее беспощадных выводов, верное, честное и стойкое служение истине—вот что требуется, чтобы придать при помощи науки смысл и красоту жизни. Кто боится истины во всей ее прекрасной обнаженности, кто стыдливо прикрывает ее хоть бы отчасти даже из самых на первый взгляд почтенных побуждений,—тот не понимает науки в настоящем смысле слова и легко может скатиться по наклонной плоскости в бездну теологии или вязкое болото метафизики. А в этой бездне и в этом болоте он найдет лишь бессмы-

сленные и безобразные химеры, приводящие к духовной дряхлости и смерти.

Но существует ли или, по крайней мере, возможна ли такая наука, действительно способная сделать жизнь осмысленной и красивой?

Современное общество таит в себе целый ряд зародышей общества будущего. Поэтому и наука будущего в зародышах существует уже теперь. Притом зародыши эти настолько уже значительны, что дают возможность не только сделать ряд отдельных научных обобщений и выводов первостепенной важности, но и представить целую научную картину мира.

Отдельные великие научные обобщения, составляющие прочное достояние человеческого ума, начались на западе Европы давно, с XVI века—с трудов Леонардо да Винчи и Коперника. Попытки набросать цельную научную картину мира выразились в двух направлениях мысли—в материализме и эмпириокритицизме.

Оба эти направления признали единственным научным методом—опыт и наблюдение, но не повседневные, а научно- или, что то же, социально-организованные. Обыденный опыт нас часто обманывает: мы, напр., видим, что солнце восходит и заходит, а на деле, после поверки научным опытом, оказывается, что не солнце восходит и

заходит, т.-е. не оно движется вокруг земли, а земля движется вокруг солнца.

Основываясь на социально-организованном опыте, мы теперь можем исправить ошибки и материализма и эмпириокритицизма, отдавая, однако, должное и тому и другому, как очень важным первым попыткам освобождения человеческой мысли от уз теологии и дебрей метафизики.

Эмпириокритицизм грешит в другом отношении: обобщения, получаемые путем научно-организованного опыта, он считает только рабочими гипотезами, предположениями, удобными для развития теории. Например, современные физика и химия придают основное значение понятию «энергия»: с их точки зрения, вся жизнь на земле— то или иное проявление единой энергии. И вот сторонники эмпириокритицизма считают энергию не реальностью, не чем-либо действительно-существующим, а простым предположением, удобным для дальнейшей научной работы. Это опять-таки неверно, потому что делает сомнительными, даже прямо эфемерными все научные выводы.

Энергия действительно, на самом деле, а не предположительно, основа всего существующего, и притом, как то показывают новейшие исследования, особенно работы Максвелля, Рамсэя, Рёзерфорда и ряда других физиков и химиков, эта энергия—не

общее понятие, а нечто конкретное, именно—электричество. Из атомов (частиц) электричества или электронов и состоит все существующее, и все явления—не что иное, как ряд электрических разрядов. И жизнь общества неразрывно связывается с жизнью природы. Сделать это помогает так-называемое экономическое понимание истории, впервые точно и прочно обоснованное Марксом. Это понимание истории приводит к положению, что вся общественная жизнь—социальная, политическая, духовно-культурная—об'ясняется в конечном счете из явлений хозяйства. А хозяйство есть та область общественных явлений, в которой энергия жизни природы превращается в энергию общественной жизни, потому что ведь хозяйство и заключается как раз в приспособлении явлений природы к потребностям человека и человеческого общества. Так, природа и человечество, жизнь природы и жизнь общества представляют одно целое. Это—так-называемый монизм, т.-е. научное единство, понимание всего мира как единого целого, об'ясняемого в конечном счете из электричества.

Скажут, пожалуй: «это черезчур просто», «не может быть, чтобы было так просто». Кто так скажет, тому не мешает вспомнить изречение Ницше: «быть великим ученым, значит уметь необыкновенно просто смотреть

на вещи». Воспримем же эту простоту взгляда от мировых гениев науки. Мы, простые смертные, приобщимся к их великой работе, усвоив ее результаты.

А результаты эти имеют огромное значение для освобождения нашего ума от теологических и метафизических заблуждений. В самом деле: при изложенном понимании единой мировой жизни не остается места ни для чего таинственного, мистического, непознаваемого, и рождается уверенность, что научному познанию доступно *все*, а следовательно в отдаленном будущем для человечества открывается возможность всемогущества в полном смысле этого слова, вплоть до общения с другими мирами, бессмертия, воскрешения тех, кто жил прежде, и даже создания новых планет и планетных систем. Нет пределов великой, смелой, всеоб'емлющей науке будущего, многочисленные отдельные зародыши и общие очертания которой имеются уже в настоящем.

Приобщиться к этой науке—светлой, великой и всеоб'емлющей, открывающей такие далекие, широкие, ослепительные перспективы,—приобщиться собственным научным творчеством, если есть на то способности, или усвоением результатов чужой творческой работы—разве это не значит придать своей жизни смысл и красоту? Ведь это действи-

тельно значит *осмыслить* жизнь, понять ее, а что осмысленно—то всегда красиво.

Итак, нет сомнения, что наука, в ее правильном понимании, придает смысл и красоту жизни. Вот первый вывод, который получился в результате исследования темы, нами освещаемой.

III.

Но как ни могуча, ни величественна наука уже теперь,—путь ее труден. Научно достижимо *все*, но *не сейчас*. И вот провидеть многое, научно достижимое лишь в будущем, предвосхитить многое нарождающееся и грядущее дано искусству. Между наукой и искусством таким образом существует много общего, даже более того: они—внутренно едины.

На первый взгляд это кажется странным, даже невозможным. Как! Ведь, по верному замечанию Оскара Уайльда, «искусство есть страсть», а наука—плод холодного ума. Разве одно и то же «ума холодные наблюдения» и «сердца горестные заметы?»

Я и не говорю, что одно и то же, но есть тут общее, связующее, есть внутреннее единство.

И, чтобы это не казалось странным, следует помнить, что занятие наукой, научное

творчество, а следовательно и наслаждение результатами чужого научного творчества вовсе не бесстрастно, не лишено примеси чувства, даже страсти. Поль Верлэн в одном своем стихотворении недаром называет ум «желчным», а думы «тревожными и мятежными»: научное творчество плодотворно и может достигнуть величия только тогда, когда, как то было у Гельмгольца, есть «*страстное* влечение» к обобщениям, когда, выражаясь языком современных психологов, имеется налицо высоко-развитое «интеллектуальное чувство, т.-е. наслаждение последовательностью, согласием и связью мыслей и недовольство от дисгармонии противоречия и недостатка связи» (слова Гефдинга); «акт творчества всегда есть напряжение воли, согретое чувством» (Оршанский). Тот же Гельмгольц, один из величайших естествоиспытателей XIX века, констатировал, что свои «научные открытия он совершал путем проблесков ума, наитий, которые часто вторгаются в голову незаметно, а иногда вдруг, как вдохновение». Сравните с этим то, что говорят о своем творчестве великие художники, представители искусства,—и вы увидите много общего. Гёте, напр., сообщает в своей «Правде и Поэзии», что он написал «Вертера» «почти бессознательно, точно в состоянии лунатизма». По словам Тургенева, его произведения выхо-

дили у него «как растет трава». Белинский ценил у Пушкина выше всего то, что̀ явилось результатом бессознательного творчества. По Уайльду, «характерные черты художественного темперамента, сосредоточенность восприятия и интенсивность замысла», а современная психология основной умственной способностью, необходимой для научного творчества, считает «деятельное, активное внимание» (Оршанский), что̀ подтверждается блестящим образом ответом Ньютона на вопрос, как он дошел до своих открытий,—ответ гласил: «постоянно думая о них». Наука исследует жизнь, глубоко в нее проникает и широко ее обнимает. Грэнт-Аллен, Гюйо, Авенариус видят в искусстве концентрацию жизни, в эстетической эмоции—общее возбуждение жизни.

Но, утверждая, что между научным и художественным творчеством и между наукой и искусством много общего, есть даже внутреннее единство, я и не думаю отрицать важное различие между ними.

Да, для научного, как и для художественного, творчества нужна страсть, необходимо вдохновение; и тут и там нужно интенсивное внимание; и искусство и наука служат истине, они—та же жизнь в концентрированном виде. Но *как* они служат истине,—это другой вопрос.

Наука *исследует* истину прямо и *непосредственно*. Искусство *постигает* истину *посредством красоты*. Красоту культивирует искусство, прекрасными образами, для всех доступными, служит оно той же истине, какой служит наука. И, предвосхищая этим путем выводы науки, искусство никогда не потеряет своего значения, — даже тогда, когда научные выводы будут сделаны, так как прав Уайльд, что «предмета нельзя видеть, пока не увидишь его красоты».

Необходимо, однако, подтвердить несколькими яркими примерами значение искусства, как предвосхитителя научной истины и как служителя истине в форме красоты. Само собою разумеется, примеры выбираются из огромной массы других, им подобных, здесь нисколько не имеется в виду исчерпывающей полноты.

Мы познакомились сейчас с некоторыми важнейшими обобщениями, достигнутыми в настоящее время научной мыслью, научным исследованием. Достойно внимания, что их провидел еще в XVI веке, почти за 400 лет до нас, талантливейший из предшественников Шекспира английский драматург Марло в своей трагедии «Фауст»: он жаждет здесь знания, которое дало бы возможность властвовать над жизнью и природой, и уверен был, что наука будущего откроет единый элемент, лежащий в основе всего существую-

щего. Нет сомнения, что это гениальное предвидение поразительно.

Несколько раньше Марло, в Италии другой художественный гений, с которым нам не раз еще придется встретиться,—Леонардо да Винчи,—открыл так-называемую светотень, т. е. ту часть теневой поверхности, которая светлее остальной части. Это было не только открытием в художественной технике, но и научной новостью.

В XIX веке подобное же открытие совершил великий французский художник-пейзажист Коро: он открыл то, что̀ французы называют les couleurs, т. е. соотношение между интенсивностью красок и их оттенков.

Всего более важны гениальные художественные предвидения, инстинктивные постижения истины в области психологии общества. Общественная психология—очень сложная ткань явлений, в которой современной науке до сих пор не удается разобраться достаточно хорошо: делаются только попытки, из которых удачными являются лишь те, которые строятся на основе классовой психологии, психологии отдельных классов общества. Искусство и здесь раньше науки с'умело выразить и отразить классовую психологию и ее развитие.

Кто психологически понял раньше всех декабризм как определенное настроение передовой дворянской молодежи в начале про-

шлого века? Конечно, Грибоедов, давший тип декабриста в лице Чацкого. А типы пассивных дворян-протестантов, «лишних людей», о которых Некрасов так прекрасно сказал:

„Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно.
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано",—

эти типы, где, как не в художественной литературе, начиная с пушкинского Онегина и лермонтовского Печорина, и кончая тургеневскими Рудиным, Лаврецким и т. д., нашли себе яркое и первое по времени выражение? А тургеневский Базаров? А кающийся дворянин Левин и практический либерал-индивидуалист Вронский в «Анне Карениной» Толстого? И в новейшее время типы романтических борцов у Горького, этого, как правильно его назвал Вогюэ, русского Бомарше, и весьма характерная для интеллигентной мелкой буржуазии психология героев Леонида Андреева, с их страхом перед судьбой («некто в сером», «некто, охраняющий входы» и пр.), с их погоней за мелким успехом, жаждой чуда, распадом личности, вечно колеблющейся, нестройной, внутренно-противоречивой («Черные маски» и пр.). Все это—яркие примеры художественного постижения явлений, еще ждущих своей

точной научной формулировки. И так было не только у нас в России, конечно, так было и в других странах: достаточно вспомнить хотя бы, напр., Стендаля с его изображением людей 30-х годов во Франции, Бальзака и Золя, выразителей психологии французской буржуазии во времена первой и третьей империи.

Но, как было уже раз сказано, современное общество хранит в недрах своих многочисленные зародыши и задатки будущего. И потому искусство, являясь плотью от плоти этого общества, отражая существующие в нем классовые отношения, сплошь и рядом путем того же художественного проникновения открывает просветы на психологические глубины и моральные ценности будущего,—делает, другими словами, те культурные успехи и приобретения, которые могут и должны быть названы достоянием общечеловеческим. На этом стоит остановиться с некоторою обстоятельностью и подробностью: ведь приятно и полезно хоть на время выйти из душной, классовой атмосферы современности и подняться в чистый воздух грядущей общечеловеческой культуры.

Удобным переходным моментом здесь могут служить те художественные произведения, в которых, при всем их классовом содержании и колорите, особенно много неизмеримых глубин психологии. Укажу здесь

на удивительную покаянную поэзию Некрасова во главе с его «Рыцарем на час» и особенно на творчество Достоевского. Вместе с Гуковским я полагаю, что весь психологический смысл творчества этого великого писателя сводится к психологии отступничества, добросовестного и искреннего, как то было у самого Достоевского. Достоевский не может отказать разуму в величии, его силе и смелости—в уважении, его протесту в признании,—было время, когда сам он протестовал, читая в кружке Петрашевского Фурье. Но суровая и горькая российская действительность, та самая действительность, которую Белинский заклеймил названием «гнусной», его пригнула и прижала, показала, что «на смерть осуждены слишком ранние предтечи слишком медленной весны», что «страшней» всего другого—«обычай старых дней». И вот Достоевский мучительно, страстно, болезненно кричит смельчакам-не отступникам: «вы—бесы, вы совершаете преступление, и вас за это справедливо постигает наказание,—и не вас только оно постигает, а и третьих лиц, совершенно невинных, как, напр., дети; вы несете моральную ответственность за преступления, материальными виновниками которых являются другие». И отсюда у него происходит и старая мораль, основанная на слепой вере и мрачная реакционность. Но и пси-

хологическая глубина в изображении этого настроения, и пессимизм вывода, и внутренние противоречия в нем, выражающиеся и в уважении к смелости «бесов», и в непримиренности автора с страданиями детей, доказывают только одно: не надо быть отступником, истина на стороне смелых, и потому лучше оставаться с обыденной точки зрения нераскаянным преступником. Почему? Потому что обыденная мораль низменна и пошла: «быть добродетельным, согласно ходячему понятию о добродетели, нетрудно», говорит Оскар Уайльд, «для этого требуется лишь известная доля низменной трусости, известное отсутствие воображения и известное пошлое пристрастие к мещанским приличиям».

Отступничество — распространенная болезнь, особенно в так-называемые Сен-Симоном «органические» эпохи, именуемые часто еще эпохами реакции. Поэтому заглянуть в психологические глубины искреннего отступничества,—ибо психологически - глубоко только отступничество искреннее, а не грубо-корыстное, эгоистическое, элементарное,—полезно, даже необходимо для каждого. В изображении этих психологических и моральных глубин—смысл и значение творчества Достоевского.

Леонардо да Винчи в своей живописи оставил неистощимую сокровищницу психо-

логических глубин. Возьмите его «Тайную вечерю» — и вы увидите, что здесь, на заре новой европейской культуры, гениальный художник с'умел психологически анализировать целый ряд характеров. Картина изображает, как известно, то впечатление, какое произвели на учеников слова Христа, что один из них предаст его. Впечатление каждого из участников события в художественном изображении Винчи психологически-индивидуально: одни вскочили и бросились к Иисусу с вопросом: «кто?» «не я-ли?» Другие в изумлении и ужасе привстали и тянутся вперед. Третьи выражают преданность учителю с неподдельною искренностью. Четвертые, как Иаков, со скорбным недоумением и отчаянием на лице разводят руками. Фома не верит и делает отрицательный жест руками. Лицо учителя дышит уверенностью и кротостью и кажется внешне спокойным, с едва заметным оттенком скорби; глаза опущены долу, но чувствуется, что, если бы Он поднял их, в них горели бы и скорбный укор, и готовность к страданиям. Особенно замечательна ближайшая к Иисусу справа группа троих учеников—Иоанна, Петра и Иуды Искариота: Иоанн со скорбью склонился к Петру, Петр порывисто привстал и настойчиво вопрошает—«кто?» Иуда отшатнулся, пораженный, но уже готовый на предательство. Здесь в художественных образах намечено то, что

до сих пор наука еще не выразила в точных формулах. Каждая черта лица, каждая поза говорят. Недаром историки искусства находят, что у Леонардо даже руки изображаемых им лиц психологически-красноречивы.

Как художнику - психологу, Леонардо да Винчи превосходно удавались также портреты. Лучший из них — похищенная было из парижского Лувра и возвращенная затем туда «Мона Лиза Джиоконда». Этот портрет изображает молодую женщину не то с улыбкой на губах, не то с каким-то особым выражением лица, похожим на улыбку, где-то спрятанную в углах губ и в выражении чистых и ясных глаз. Не радость и не веселье выражает это загадочное, удивительное лицо. Чувствуется в нём что-то нежное, глубокое, чистое и вместе страстное и чувственное. Есть такие женщины—чистые и в то же время вакханки. Кажется, Леонардо, набрасывая портрет любимой женщины, вместе с тем изобразил тут и свое понимание того, чем особенно дорога женская натура. Опять глубина психологического содержания, художественно выраженная, но ожидающая еще научной формулировки.

Байрон в «Дон-Жуане» не только рассыпает с невиданной, неслыханной, беспримерной щедростью блестящие перлы остро-

умия, но нередко делает замечания величайшей психологической ценности. Вот два примера: «радость ищет взаимности, счастье двойня»; «все существа, рожденные с стремлением к свободе, любят уединение». У того же Байрона в «Чайльд Гарольде» мы находим такое художественное выражение задушевной нежности:

„Среди страданий неизменных
У нас у всех на дне души
Есть много образов священных,
И мы лелеем их в тиши.
О них мы память сберегаем,
И сколько б жить нам ни пришлось,
Не мало теплых, чистых слез,
Благоговейных слез роняем".

Байроновский Лара, который «не любил блаженной середины и лишь в страстях забвения искал»,—ведь это такой страстный протест против людской пошлости, подобный которому можно найти только у Ибсена с его основной житейски-моральной идеей, что «нужен викинг, человек воли, характера, и валькирия, мужественная женщина, его деятельная помощница; нужна личность: ненависть и любовь, счастье и страдания». Это то же, что говорил еще автор Апокалипсиса, выражавший порицание тому, кто не холоден и не горяч, а только тепел, и что Данте в своей «Божественной Комедии» выразил, говоря о мучениях в аду тех,

„кто, живши на земле
Был порицанью чужд и похвале,
Их след исчез подобно волнам дыма,
Отвергнуты они неумолимо
И милостью Господней и судом,
Караемы презреньем и стыдом".

Психологическое и моральное убожество пошлости и обыденщины, таким образом, художественно раскрыты Байроном, Ибсеном, Данте. Сюда можно прибавить еще Мопасана и Чехова.

У Тютчева есть удивительное стихотворение, изображающее душевное состояние, худшее, чем самое глубокое, острое страдание,—состояние отупелого равнодушия:

„Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других...
Их тяжкий гнет, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.
Вдруг все замрет. Слезам и умиленью
Нет доступа; все пусто и темно.
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.
Ах, и над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней.
И я один с моей тупой тоскою
Хочу сознать себя и не могу—
Разбитый челн, заброшенный волною
На безыменном, диком берегу.
О, Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей!"

Мертвенность души, отупелое равнодушие, что̀ может быть хуже этого? И этот вывод достигнут художественным проникновением.

Трудно остановиться, перебирая психологические и моральные богатства, рассыпанные в художественных произведениях. Я никогда не кончил бы, если бы задался неисполнимой задачей исчерпать их все до конца. Укажу только в заключение на моральный вывод, вложенный Шекспиром в уста великого страдальца Лира, нашедшего, несмотря на страдания и несправедливости, им вынесенные, силу сказать: «Нет в мире виноватых».

Сказанного, я думаю, достаточно, чтобы прочно установить, что искусство провидит и постигает ту самую истину, которую исследует систематически и точно наука, и что достигает этой цели искусство при помощи красоты. Глубоко прав поэтому Шелли, говоря:

„сиянье красоты
Как снег нагорной высоты,
Как ветер ночи, сладко спящей,
Что будит чуткую струну
И грезит музыкой звенящей,—
Из жизни делает весну,
Дает гармонию мучительному сну".

Так для нас выясняется великое значение искусства. Но какого же искусства? Ведь известно, что и в пластических искус-

ствах, и в изящной литературе сменяются и борятся разные школы и направления. Которое же из этих направлений должно быть признано истинным?

Отдельные школы и направления в искусстве—несомненное отражение психологии господствующих классов общества. Классицизм стиля Корнеля или Расина, с их многочисленными подражателями, соответствует вкусам дворянского общества, романтизм—выражение бурных стремлений рвущейся к власти демократии, натурализм—искусство буржуазии, достигшей преобладания, декадентство или мистический символизм, равно как и новейшие акмеизм и эгофутуризм,—отражение мистических исканий отживающих классов, и т. д. Бессознательно художники слова, кисти, резца—одинаково выражают вкусы господ положения. Но, отражая их, каждая художественная школа, если она действительно художественна, чужда ремесленности, вносит некоторое творческое начало. Там нет искусства, где нет творчества. Это прекрасно иллюстрировал Гёте следующим примером: «если искусный художник нарисует с неподражаемой точностью мопса своей возлюбленной,—у нее будет два мопса и ни одного художественного произведения». Не фотографировать действительность, а, как выражается в своем дневнике великий художник-романтик Делакруа,

«интерпретировать природу сообразно своему темпераменту»—вот что значит творить в искусстве.

И при таком творчестве, хотя и заключенном в рамки классовых отношений и условий, по крупицам накапливается сокровищница будущей общечеловеческой красоты. Надо, очевидно, только собирать эти крупицы вместе, воедино, не чураясь ни одной из них. Не надо робости и узости, не надо никаких ухищрений и ограничений. Надо помнить вместе с Вольтером, что «всякое искусство хорошо, кроме скучного». Это то же, что сказал Оскар Уайльд: «истинный критик будет искать красоту во всех временах и во всех школах». Пусть истина в форме художественной красоты переливается всеми цветами радуги, создает богатейший калейдоскоп ощущений, впечатлений и мыслей, волнует, мучит, удивляет, радует и печалит. Смело и бесстрашно твори, наслаждайся тем, что близко и понятно тебе в чужом творчестве, не лезь из кожи, чтобы выдумать что-либо непременно новое, хотя бы и нелепое и безобразное. Новое само придет при вдохновенном, непринужденном, свободном художественном творчестве и нелицемерном, искреннем, чуждом моды отношении к чужому творчеству. Долой узость и притворство, прислужничество буржуазной моде и пустую жажду жалкой популярности!

И да здравствует свободное вдохновение, смело творящее художественную правду посредством красоты!

IV.

Прекрасны, велики и необходимы наука и искусство. Это—так. Без них не было бы понимания смысла и красоты жизни, невозможна была бы и осмысленная и красивая жизнь.

И все-таки они—только средства для понимания жизни, они для большинства — кроме самих ученых и художников — составляют лишь содержание созерцательной, не активной жизни. Да и для ученых и художников, если они действительно личности, а не только специалисты, вся активная жизнь не может быть заключена в рамки одного только их научного или художественного творчества. Поэтому, определяя смысл и красоту жизни, мы должны наметить также главное, что здесь важно, в области человеческой активности, деятельной жизни.

И здесь, в этой области, мы обретаем один из величайших залогов смысла и красоты жизни. Залог этот—любовь. Я имею в виду, конечно, любовь как влечение одного пола к другому.

Но этого определения далеко недостаточно. Роды и виды этого влечения очень

разнообразны. Надо решить, какой именно из этих родов и видов действительно заслуживает названия любви, как чувства осмысливающего и украшающего нашу жизнь.

Несомненно, и на сферу любовных влечений классовые отношения наложили свою властную руку. Они создали и суррогат любви — отвратительный и позорный, — и фальсифицированную любовь, и, наконец, любовь больную, сплошь состоящую из одних мучений. Настоящий поэт этих любовных извращений — Кнут Гамсун. Камма в «Пане», эротическая грязь в отдельных рассказах Гамсуна—мастерское изображение суррогата любви и ее фальсификации. Любовь, которую вызывает Эдварда в «Пане» и Дагни Кьелланд в «Мистериях»,— образец мучительной любви.

Но эти извращения, в которых для некоторых, а может быть и для очень многих, есть также своя прелесть, не мешают тому, чтобы и здесь сквозь колючую проволоку классовых заграждений прорывалась истина общечеловеческой любви будущего. И нигде провидящая, пророческая роль искусства—в частности изящной литературы—не выражается так ярко, как именно в области изображения любви. Конечно, всякий в тайниках своего сердца найдет более или менее богатый материал для этой темы, но чтобы осветить этот материал ярче и при-

вести его в порядок, удобнее всего прибегнуть именно к художественной литературе: недаром мотив любви в ней господствует.

„Цветок цветку с пчелой звенящей
Шлет золотистую пыльцу,
И к отдаленному концу
Над обнаженностью и чащей
Несется с бабочкой летящей
Пахучесть дум, двойной расцвет
Восторг цветенья, светлый след.
Воздушность пляски в зыби струйной,
Дух благовонья поцелуйный.
Не так ли я тебе пишу
Мое воздушное посланье.
Которой сердцем я дышу,
Которой в сердце я дышу,
С которой тонкое слиянье
Мне обещает мотылек
Моих цветисто-струнных строк,
Качанье лунного дыханья,
Дабы возник медвяный сок,
Жасминный дух благоуханья".

Это несколько черезчур изысканное, затейливое стихотворение Бальмонта верно выражает одну из важнейших черт настоящей, подлинной любви — духовную интимность любящих, наличность духовной связи, неразлучной с действительно сильной страстью. В самом деле: что такое страсть? Это чувство, возникающее стихийно и неотвратимо, это—слепое влечение, вкладываемое в нас природой, производящей как бы естественный подбор существ, привлекательных друг для друга. Привлекательность, если она

не надуманная, а глубокая, не может, конечно, ограничиваться одной внешностью.

Эта же интимная духовная близость гениально выражена Лермонтовым в следующем художественном перле:

„Есть звуки—значенье ничтожно
И презрено гордой толпой,
Но их позабыть невозможно.—
Как жизнь, они слиты с душой;
Как в гробе зарыто былое
На дне этих звуков святых,
И в мире поймут их лишь двое
И двое лишь вздрогнут от них".

Связь эта скрепляется не одними радостями любви,—нет, вполне права Аглавена у Метерлинка, говоря: «Как только полюбишь человека, обрекаешь и его и вместе с ним себя страданиям, которых прежде не было». И когда духовная интимность порывается,—исчезает и само чувство. Это ярче всего выражено Метерлинком в «Монне-Ванне»: Принциваль стал уже духовно близок Джованне, когда благородно отказался от ее жертвы, движимый чувством истинной любви; их сближение завершено было тем грубым непониманием этих тонких и глубоких отношений, какое обнаружил Гвидо, муж Джованны. своим недоверием, своей эмоциональной тупостью Гвидо порвал духовную интимность, существовавшую между ним и Джованной и дал ей право, даже наложил

на нее обязанность солгать, чтобы не профанировать нового великого чувства, возникшего между нею и Принцивалем.

Посмотрите еще, как изображает поэзия отдельные моменты любви,—и вы увидите, что в каждый из них духовная интимность имеет огромное значение. Вот „утро любви", эти, по словам Надсона, «первые, робкие речи, трепет девственно-нежной, стыдливой души, недомолвки и быстрые встречи, перекрестных намеков игра, то надежда, то ревность слепая». Вот момент, предшествующий решительному об'яснению в изображении Бальмонта:

„Блаженно, став на грань предела,
Не жаждать больше ничего,
Ты так красиво опьянела
От приближенья моего.
Сейчас последняя завеса
Совсем растает между нас,
О, как красиво в храме леса,
Неповторяемости час!"

Вот, по Гейне, духовное состояние влюбленного после признания:

„Что меня ты любила,—то знал я,
Эту тайну давно я открыл,
Но когда ты сама мне призналась,—
Потрясен и испуган я был.
Я всходил на высокие горы,
Ликовал я и весело пел
И я к морю спускался и с плачем
На сходившее солнце смотрел.
Мое сердце, как вешнее солнце,

Лучезарного света полно
И в любви-океане заходит
Велико и прекрасно оно!"

Я миную изображение восторгов любви в ее разгаре, потому что поэтические отражения их всякому хорошо памятны и настолько многочисленны, что трудно выбирать. Остановлюсь лишь на минуту на моменте разрыва и разлуки — невольной и добровольной,—на том моменте, о котором с такой неподдельной грустью сказал Шелли:

„Счастье, любовь, красота, вам привет!
Нет перемены вам, смерти вам нет.
Только бессильны мы вас сохранить,
Рвем вашу тонкую, светлую нить".

Поэт-парнасец Эредиа, блестящий представитель красоты формы, с удивительной силой выразил духовную интимность при вынужденной разлуке, в таких стихах:

„На мне клеймо. Я—раб, нагой, полуголодный,
Противный, весь в грязи... Но там, у синих вод,
Где Гибла высится, полна душистых сот,
Над чудной бухтою, я родился свободный!
Ах, как далек тот край! О путник благородный,
Тебя, быть может, журавлей весенний лет
В окрестность Сиракуз случайно приведет,—
Спроси про ту, что я любил,—увы! бесплодно...
Увижу ли еще под гордой черной бровью
Лазурные глаза, где с лаской и любовью
Родные небеса свой отражали свет!..
Ты ей скажи, будь добр; я жребий свой тернистый
Терплю, чтоб свидеться с моею Клеаристой.
Ее узнать легко. грустней на свете нет"...

Смерть тоже, как и рабство, плен, тюрьма, разлучает любящих против их воли. Но и тут момент духовной интимности выступает ясно. Послушаем Бальмонта:

„Не погасай, она сказала:
Твой свет—восторг, не погасай!"
О, нашей власти слишком мало,
Чтоб не уйти в закатный край!
Закат алеет нежной кровью
И стынет в бездне голубой...
Не плачь, склонившись к изголовью,
Я умер. Пусть! Я был *с тобой*

Некрасовское «Прости» показывает, как полна духовного содержания даже добровольная разлука после глубокой любви:

„Прости. Не помни дней падений,
Тоски, унынья, озлобленья,
Не помни бурь, не помни слез,
Не помни ревности угроз,
Но дни, когда любви светило
Над нами ласково всходило,
И бодро мы свершали путь,—
Благослови и не забудь!"

И, конечно, только при такой широте чувства возможна и его глубина, возможно отдать себя чувству вполне и безраздельно.

Значит ли это, что неизбежна идеализация любимого человека, изображение его как полного совершенства, как идеала? Очень молодые люди склонны к этому и потому часто ослепляются и ошибаются, испытывают подчас горькое разочарование. Но не

в такой идеализации заключается действительная любовь. Идеализация—всегда искусственна. Пойдите в цветочный магазин и закажите себе букет. Вам дадут букет в своем роде превосходный, очень красивый, но то будет общая красота, красота шаблона и рутины. Наберите букет сами, по вашему вкусу, — получится другой результат: может быть, рассуждая отвлеченно, букет будет хуже первого, менее красив, но он будет индивидуален, он будет выражать *ваш* вкус. И полюбить надо не ходячее совершенство, а *человека* — оригинальный букет достоинств и *недостатков*, так что, если бы отняты были недостатки,—весь своеобразный аромат букета, составляющий главную его прелесть, потерялся бы. Селизета у Метерлинка прекрасно выразила это в следующих словах: «я хочу, чтобы он любил меня за то, что это — я, только за это; я не хочу, чтобы он любил меня за то, что я согласна с ним, или потому, что могу отвечать».

Отсюда понятной становится еще одна истина, которую надо знать и помнить, чтобы любовь, действительно, давала смысл и красоту жизни. Если для каждого важен данный человек с его специфическими достоинствами и недостатками, то что за дело ему до чужого мнения? Надо и в любви, как и в науке и в искусстве быть смелым и лишенным предрассудков. Не скрывай, не уро-

дуй и не стыдись своих чувств. Будь свободен и искренен. Давай, что можешь и хочешь, и бери, что дают. Никаких предрассудков, никаких пут, ничего искусственного и принудительного! И здесь должно проявляться то же радостное и бестрепетное творчество, что̀ и в науке и искусстве.

Здесь мы подходим к самому деликатному и скользкому пункту вопроса. Нет ли предела, где предрассудки вступают в силу? Не следует ли положить предел свободному чувству, потому что оно слишком свободно? Я вовсе не думаю проповедывать конкретно то, что̀ иногда дают в этом отношении жизнь и искусство, и о чем сейчас пойдет речь. Я только вижу в этом наиболее яркие иллюстрации свободы чувства.

Известны случаи, когда культурные, морально и умственно развитые люди, как, напр., Ренан, или знаменитый английский сатирик XVIII в. Свифт, любили одновременно двух женщин, дружно живших между собою. Должны ли мы осудить таких многолюбящих людей?

Обратимся опять к поэзии, пророчески проницательной и психологически глубокой более всего в делах любви.

Гёте в своей драме «Стелла» в первоначальной ее редакции, которую потом он переработал из страха перед ходячей лицемерной моралью, изобразил случай со Свиф-

том и морально оправдал всех лиц, к нему прикосновенных. Байрон в «Беппо» воспевает благополучную жизнь одной женщины с двумя мужчинами одновременно. Глубокая психология двоеженства, вовсе не сопряженного с какой-либо моральной распущенностью, дана в романе Мопасана «Наше сердце». У Шелли Лаон и Цитна—брат и сестра, но их связывают не только братские отношения. По этому поводу Шелли замечает совершенно справедливо: «истинных добродетелей потому так мало, что существует такое множество искусственно-созданных пороков». Не будем и мы искусственно создавать пороки и, предоставив буржуазному лицемерию бросать громы и молнии, не будем питать вредных предрассудков и предоставим человеческой природе свободу творческой деятельности и в делах любви, как и во всем другом.

Есть еще одна мысль, которой надо заключить речь о любви, дарующей смысл и красоту жизни. Конечно, любовь достигает полного развития и расцвета и дает полноту счастья только тогда, когда бывает взаимной. Но и любовь без взаимности осмысливает и украшает жизнь. Почему? Потому, что само по себе чувство любви, даже без сочувствия другой стороны, прекрасно, будит и развивает лучшие стороны человеческой натуры, открывает в человеке

беспредельные духовные глубины и неисчерпаемые духовные богатства. Один из величайших поэтов и страдальцев любви Мюссэ в своем стихотворении „Souvenir“ недаром говорит, что «всякое глубокое, искреннее, горячее чувство прекрасно само по себе, несмотря на то, связаны ли с ним радости или печали», а Байрон влагает в уста Тасса слова:

„Сама любовь служила мне усладой
Она сама была себе наградой“.

Прежде всего и больше всего важно — любить, а потом уже — быть любимым.

V.

А. В. Луначарский в одном из своих критических очерков дал прекрасный анализ «Фауста» Гёте, вскрыл основное его психологическое содержание. Оно, говоря коротко, сводится к следующему: Фауст погружался в занятия наукой, испытал любовь (Гретхен), увлекался искусством (Елена), наконец, техникой (постройка дорог, мостов, зданий и проч.) и, в конце-концов, пришел к такому выводу:

„Лишь тот свободной жизни властелин,
Кто дни свои в борьбе проводит трудной“.

Борьба, общественная деятельность — вот та четвертая, послёдняя сфера житейских

отношений, которая придает жизни человека смысл и красоту. Борьба, общественная деятельность дает человеку высшие, жгучие наслаждения активности, деятельности, практической энергии. Это понимают даже такие уравновешенные люди, как наш поэт-классик Майков:

„Жизнь без тревог—прекрасный светлый день,
Тревожная—весны младые грезы;
Там—солнца луч, а в зной—оливы сень,
А здесь—и гром, и молния, и слезы...
О, дайте мне весь блеск весенних грез
И горечь слез, и сладость слез!"

Конечно, борьба очень часто, слишком часто, сопряжена с страданиями, конечно, выражаясь словами Бодлэра,

„Любители пошлого сыты,
Их доля светла и легка,
А руки Икара разбиты
За дерзость обнять облака",

но права Аглавена у Метерлинка, говоря: «не лучше ли плакать от благородного поступка, чем быть обязанным своею радостью чему-то такому, отчего не вырастает душа?»

Активность — потребность живого человека. Она вытекает из того стремления человека проявить свою личность, которое Гюйо отожествляет с самой жизнью: «жить, значит действовать, проявлять и выражать свою личность».

Но чтобы проявить свою личность вполне и до конца, надо в каждом данном случае исчерпать все свои силы и средства для достижения поставленной себе в общественной деятельности цели. Если они все исчерпаны, то, хотя бы результат не был непосредственно достигнут, вполне уместно чувство самоудовлетворения: сделано все возможное. Поэтому заглядывать внутрь себя, спрашивать себя строго и нелицеприятно, все ли, что̀ возможно, сделано,—первый принцип, которому необходимо следовать в общественной деятельности, чтобы она действительно придавала смысл и красоту жизни. Это—добросовестность с самим собой, строгость к самому себе. Она одна только способна обосновать истинное самоуважение,—то настроение, которое выше и ценнее всего для сильной личности и которое позволяет человеку гордо, с сознанием своего достоинства, сказать словами Пушкина: «ты сам—свой высший суд».

С этим же достоинством человеческой личности связан другой принцип общественной деятельности, красной нитью проходящий, как мы видели, через все области житейских отношений: это—требование быть смелым и решительным.

Но что значит быть смелым в общественной борьбе?

Конечно, бывают моменты, когда стано-

вится необходимостью самопожертвование. Жертва, правда, всегда зло. Не даром сказано: «милости прошу, а не жертвы»,—милости, т.-е. свободного волеиз'явления. Но бывают обстоятельства, при которых приходится выбирать между жертвой и величайшим позором, унижающим человеческое достоинство. Тогда жертва, самопожертвование, является меньшим злом, следовательно, относительным благом, единственно-возможным при данных обстоятельствах. Тогда и самопожертвование является «милостью», результатом свободного самоопределения человеческой личности. Тогда оно является необходимым, и к нему надо быть готовым: бестрепетно, смело и гордо надо испить эту горькую чашу до дна. Великий пример Голгофы останется в этом отношении бессмертным навсегда.

Но тот ошибся бы, кто счел бы самопожертвование необходимым признаком смелости в общественной борьбе всегда, при всех условиях. Нет! Быть смелым—вовсе не значит, что надо без толку и пользы бить в стену лбом или бестолково-храбро подставлять этот лоб под вражеские пули. Настоящая смелость состоит в том, чтобы бестрепетно и бесповоротно идти к великой цели, выбирая лучшие при данных обстоятельствах средства, необходимые для достижения возможного максимума результата. Следова-

тельно, необходимо и бесстрашно менять средства с переменой обстоятельств. Я с намерением говорю—«бесстрашно», потому что такая перемена подчас бывает очень нелегка, требует большой смелости. Близорукость единомышленников и друзей подчас вызывает при перемене средств борьбы несправедливые, хотя и искренние, подозрения и резкие и горькие упреки с их стороны, а также радостный смех противников, предвкушающих возможность в будущем подарить смелому борцу свой «жирный поцелуй», как предателю или ренегату. Много надо подлинного мужества, чтобы не убояться этого. Но оно достижимо при искреннем и неуклонном стремлении к великой цели.

Но откуда же—спросят нас—возьмется эта великая цель, раз все дело не выходит из пределов проявления личности? Не придется ли тут вернуться к отвлеченной морали, к абсолютной этике, к категорическому императиву?

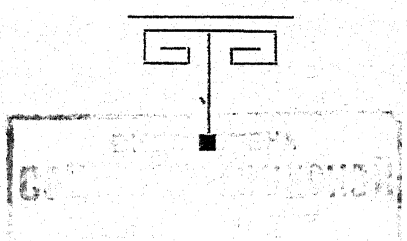
Отвечаем: нет! Путь к великой цели уже намечен этим самым проявлением личности.

В самом деле: о чем бы мы ни говорили,—о науке ли, об искусстве, или о любви, или, наконец, об общественной деятельности,—везде мы встречались с требованием неограниченной, полной свободы. Но когда, при каких условиях мыслима и возможна такая свобода?

Она невозможна в классовом обществе. В нем возможны лишь отдельные просветы, проблески, зародыши этой свободы, стесняемые и заглушаемые классовыми перегородками, тою стихийной необходимостью, царство которой представляет собою капиталистическое общество с его хозяйственной безурядицей, экономической неорганизованностью, отсутствием планомерности в удовлетворении насущнейших потребностей человека. Только при осуществлении внеклассового строя, только при овладении хозяйственной и социальной стихией, только при торжестве социализма возможна и осуществима широта и полнота свободного проявления личности во всех отношениях.

Цель таким образом дана. Дана и та среда, опираясь на которую, действуя солидарно с которою, можно достигнуть этой цели в общественной борьбе. Кому не страшно это грядущее? Только тем, которые по известному счастливому выражению, ничего, кроме цепей, в ней не утратят,—трудящимся массам, рабочей демократии. Сюда и должен примкнуть тот, кто действительно жаждет смысла и красоты жизни. И моральный вывод, строго и реально обоснованный, тогда сам собой напросится. Это—решение того же вопроса «о голодных и раздетых», которое еще Писарев признавал невозможным без активности самих «голодных и разде-

тых». Надо только помнить, что активность эта должна быть понимаема глубоко, что она должна быть направлена и на самих себя, на создание из себя новых людей, на совлечение с себя ветхого Адама. И надо знать, что социализм не только благое намерение,— благими намерениями и ад вымощен, — а сложная и трудная задача, требующая знания, умения и не внешней только, а и внутренней организованности и упорной, продолжительной работы. Величайшая из всех революций, когда-либо бывших, есть так же, как и все революции,—сложный и трудный процесс, сознательное и искреннее содействие которому может и должно придать нашей жизни окончательный и высший смысл и величайшую красоту. Здесь в высшем синтезе об'единяется все, что осмысливает и украшает жизнь: социализм невозможен без науки, без искусства, без любви.



Петрооблит № 1445. Тираж 4000 экз.

Типография Культ.-Просв. Отд. Петрогубпрофсовета, Красная, 24.